

А.И. Разувалова

Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН

«Долгие 1970-е»:

**канонизация русской литературной классики
и писатели-«деревенщики»**

Аннотация: В статье рассматривается процесс дискурсивной адаптации писателей-«деревенщиков» (В. Астафьева, В. Шукшина, Ф. Абрамова, С. Залыгина, В. Белова, В. Солоухина) к статусу «наследников» русской литературной классики. Этот процесс был связан с осуществлявшейся в «долгие 1970-е» очередной канонизацией русской классики XIX века, в которой значительную роль сыграли критики и литературоведы национально-консервативного лагеря. Специфика самоопределения «деревенщиков» по отношению к классическому наследию связывается с маргинальностью их социокультурной позиции и конфликтом со столичной творческой элитой, сопровождавшего процессы их социализации в городском пространстве.

The article deals with the discursive adaptation of village prose writers (V. Astafiev, V. Shukshin, F. Abramov, S. Zalygin, V. Belov, V. Soloukhin) to the status of the «heirs» of the Russian literary classics. This process was associated with another canonization of the Russian classics of the 19th century carried out in «the long 1970s» in the course of which a significant role was played by the literary critics of the national conservative camp. The specificity of the self-determination of the village prose writers in relation to the classical heritage is conditioned by the marginality of their socio-cultural position and by their conflict with the capital's creative elite, which accompanied their socialization in the urban space.

Ключевые слова: русская литературная классика, канонизация классики, национально-консервативный лагерь, писатели-«деревенщики», идентичность, маргинальность.

Russian literary classics of the 19th century, canonization of classics, national conservative camp, village prose writers, identity, marginality.

УДК: 821.161.1

Контактная информация: Санкт-Петербург, наб. Макарова, 4. ИРЛИ РАН, сектор литературоведения. Тел. (812) 3281140. E-mail: rai-2004@yandex.ru.

Большие тиражи книг русских писателей XIX века, поток научной и популяризаторской литературы, содержащей новые интерпретации классики, дискуссии в печати, посвященные ее роли и месту в жизни современного человека, многочисленные постановки на театральной сцене и в кино дают основания говорить о том, что в «долгие 1970-е» осуществлялась очередная канонизация классики. Как любая канонизация наследия, она в значительной степени была мотивирована стремлением политических и культурных элит построить через классику собственный образ, решить собственные задачи [ср.: Brooks, 1981, с. 315–334]. Эпоха брежневской «стабильности» нуждалась в идеологемах, объяснявших неприметно свершавшийся «консервативный поворот», постепенный отказ от риторики «светлого будущего» [см.: Дубин, 2004], и таковой стало «соединение традиции и новаторства». Русская классическая литература XIX столетия оказалась главным олицетворением широко понимаемой традиции национальной культуры и резервуаром символов, поддерживавших единую «русско-советскую»

идентичность. Причем «классикоцентризм» культуры «долгих 1970-х» в той или иной мере отвечал интересам всех групп позднесоветской элиты. Партийно-идеологические институты заявляли, что имевшие место в 1920-е годы «перегибы» по отношению к национальной культуре ныне благополучно искоренены и нравственные ценности классики вполне согласуются с моральными нормами строителей коммунизма. Набивавшие силу консервативные круги отыскивали в классике основания для легитимации национально-государственного комплекса идей и борьбы с оппонентами из либерально-прогрессистского лагеря. А фрондерски настроенная часть интеллигенции обнаруживала у Пушкина, Достоевского, Толстого и Герцена подпитывавший ее опыт «тайной свободы».

Культурно-политическая конъюнктура, включавшая в себя повышенный интерес к традиции, классическому наследию, была особенно выгодна национально-консервативному лагерю, который в литературоведческой своей части был представлен несколькими крупными фигурами: прежде всего видными филологами академической школы и яркими полемистами В. Кожинным и П. Палиевским, а также М. Лобановым, Ю. Селезевым, Ю. Лощицем, В. Чалмаевым, Ст. Куняевым, получившими известность благодаря своим литературоведческим и критическим работам. Русская классика стала для них идеальным пространством легитимации консервативных («традиционных народных») ценностей, однако это потребовало ее последовательной реинтерпретации по отношению, во-первых, к сложившейся в советское время традиции истолкования, во-вторых, к формалистско-структуралистским методикам ее анализа. Не случайно особую остроту в 1970-е годы имели многочисленные дискуссии о методах и границах интерпретации классического наследия [см., например: Классика: границы и безграничность, 1976; Литература и НТР, 1976; Литературоведение: мера точности, 1977], причем «интерпретация» в традиционалистской подаче нередко представляла обозначением нарочито субъективистского прочтения классики, а генезис ее усматривался в искусстве авангарда и связанных с ним литературоведческих концепциях [см.: Куняев, 1976; Палиевский, 1990]. Своего пика традиционалистская «борьба за классику» достигла в 1977 году во время дискуссии «Классика и мы» (Москва, ЦДЛ, 21 декабря), не получившей, впрочем, освещения в советской прессе из-за ее скандального хода, разом опрокинувшего все конвенции публичного говорения о классическом наследии. Еще одним важным элементом консервативной реинтерпретации классики стало издание беллетризованных биографий русских писателей (Ф.М. Достоевского, И.А. Гончарова, А.Н. Островского, Г.Р. Державина, Ф.И. Тютчева) в серии «Жизнь замечательных людей». «ЖЗЛ» пользовалась огромной популярностью у советских читателей, и появление в конце 1970-х годов одного за другим новых жизнеописаний русских классиков, идущих вразрез с нарративно-риторическими схемами, используемыми официальными литературоведением, в 1980 году завершилось публичным осуждением подобной редакционной политики и авторов, рискнувших перевести писательские биографии в национально-консервативный дискурс [Книги о русских писателях в «ЖЗЛ», 1980].

Любая канонизация, несмотря на ее ретроспективный характер, всегда призвана влиять на баланс сил в литературном поле. Иначе говоря, авторитет классики, к которому апеллируют те или иные группы, работает на «преемников», чьи ряды формируются критикой здесь и сейчас. Сама «преемственность», ценность которой в период канонизации увеличивается, оказывается важным символическим ресурсом. В «долгие 1970-е» в качестве главных наследников классической традиции критиками, вне зависимости от эстетико-идеологических предпочтений, рассматривались писатели-«деревенщики» (Ф. Абрамов, В. Шукшин, В. Астафьев, В. Белов), а также близкие к ним С. Залыгин и В. Солоухин [см.: Боровиков, 1979; Сердюченко, 1980; Ковский, 1981]. Основания для объединения в плеяду «наследников» столь разных творческих индивидуальностей, организационно между собой мало связанных и уж тем более не издававших совместных манифе-

стов, литературными экспертами были найдены довольно быстро. Таковыми стали «реализм» и «общенародный опыт», иначе говоря, воплощение языком традиционной, восходящей к XIX столетию, реалистической эстетики социального опыта и этоса не-привилегированных слоев населения – «народа». В конструируемой критиками-традиционалистами истории русской литературы творчество «деревенщиков» знаменовало желанное слияние высокой и народной культур. Из подобного слияния, случившегося в начале XIX века, литературоведы и критики национально-консервативного крыла выводили рождение русской классики. Возникновение же в XX столетии «деревенской прозы» свидетельствовало о сходном явлении, но с иными акторами: «Как в XIX веке задача возрождения национальной культуры через народность ясно осознавалась как задача “взаправду сродниться с народом”, видеть мир “глазами всего народа”, так теперь перед самим народом встала еще более трудная задача подняться непосредственно от земли и станка к высотам отечественной и мировой культуры...», – утверждал один из известнейших критиков-«неопочвенников» [Селезнев, 1986, с. 74]. Собственно, в социокультурном контексте 1970-х годов настойчивое декларирование «народной» основы русской классической литературы было подчинено выстраиванию определенной системы культурных координат, в рамках которой наследниками классической традиции становились выразители «общенародного опыта».

Разумеется, со временем критики и авторы литературоведческих работ о «деревенской прозе» конкретизировали тезис о «преемственности», обнаружив как следы прямого влияния классиков на произведения «неопочвенников», так и типологические сходства на уровне сюжетно-мотивной организации, системы героев и т.п. Однако в данной статье речь пойдет о структурировании «деревенщиками» через русскую классику XIX века своей идентичности, и соответственно классика будет рассматриваться как устойчивая канонизированная система символов, сыгравших ключевую роль в процессах национального культурного самоопределения, как «виртуальный» актер, авторитет которого неизменно влияет на распределение позиций в литературном поле (П. Бурдьё). В литературоведческих исследованиях не ставился «наивный» вопрос о том, как ощущали себя в роли «преемников» писатели-«деревенщики», полагавшие, что они ценой огромных усилий буквально прорвались к культуре? Признание В. Астафьева, сделанное уже зрелым писателем в 1974 году: «Меня тоже иногда называют учеником и преемником какого-нибудь классика... Но сам я никогда не осмеливался и не осмелюсь потревожить прах великих писателей...» [Астафьев, 1997, с. 208], косвенно свидетельствует о том, что освоиться с ролью «преемника» было непросто. Можно предположить, что присвоенный критиками статус «наследника» стимулировал у этих художников (например, у мучительно боровшегося со своей «непросвещенностью» Астафьева [Астафьев, 2009, с. 466] или у сетовавшего на пробелы в образовании В. Белова [см.: Бондаренко, 2004, с. 195]), внутренние усилия по самообъяснению, необходимость самоопределения «на фоне Пушкина», то есть вершин отечественной литературы: «За нашей спиной стоит такая блистательная литература, возвышаются горами такие титаны, что каждый из нас, прежде чем отнять у них читателя хотя бы на день или час, обязан крепко подумать над тем, какие у него есть на это основания?» [Астафьев, 1980, с. 24].

Примечательно, что литературная классика у «деревенщиков» часто выступает в не-специфицированном контексте как воплощение культуры вообще, точнее, ее «внутренней, маркированной, сакральной части» [Зенкин, 1999, с. 33]. Соответственно овладение богатствами классики приравнивается к овладению культурой. Именно здесь кроются истоки травмы, пережитой некоторыми «деревенщиками» (в частности, Шукшиным, Астафьевым). Общеизвестен апокриф о вступительном экзамене Шукшина во ВГИК, во время которого экзаменатор М.И. Ромм уличил будущего писателя в незнании «Войны и мира» (по другой версии «Анны Карениной») [см.: Коробов, 1999, с. 69–70; Зоркая, 2006, с. 353].

Если знание классики атрибутировано просвещенному человеку и знаменует причастность некому «культурному» сообществу, то ее незнание обнаруживает то, что хотелось бы скрыть, особенно в элитарной творческой среде, – провинциальную недообразованность, ставшую своего рода стигмой для Шукшина. А.И. Куляпин точно квалифицирует этот опыт как травматический и выводит из него бунт писателя против классики, иногда принимавший иронически-пародийные формы, но соседствовавший с подчеркнутым пиететом по отношению к ней [Куляпин, 1998, с. 4]. Случай Шукшина индивидуален, но не экстраординарен. Похожие коллизии переживали Белов, Абрамов, Астафьев. Необходимость наверстывать упущенное, осознание недостаточной образовательной компетентности подчас было для них мучительным: «Какой я дикий и неграмотный человек, хотя и работаю после таких вот писателей, как Чехов. И много таких нас – диких, малокультурных, мало знающих и еще меньше понимающих...» [Астафьев, 2009, с. 98]. Классикой необходимо было «овладеть», хотя это овладение принципиально иного свойства, нежели практики «литературной учебы» 1930-х годов. Ситуация учебы у классиков, конечно, тоже присутствовала. Не случайно позднее о своих статьях, посвященных литературе XIX века, С. Залыгин справедливо заметит: «...Когда писатель становится хоть в какой-то мере литературоведом, в этом сказывается его желание учиться» [Залыгин, 1991, т. 6, с. 356]. Но чтение «деревенщиками» классики не было ее поспешной ритуальной «проработкой» с целью самоутвердиться в роли культурного человека, напротив, оно подавалось как «вживание» в нее, установление «органичного» родства с выдающимися художниками прошлого. Другими словами, необходимо не просто знание национальной классики, но пребывание в традиции, о котором рассуждал С. Залыгин: художник, постигая современный мир, «всегда находится во власти творческой традиции, ему никогда и никуда не уйти от вполне конкретных художественных произведений, которые на века стали эталонами...» [Залыгин, 1991, т. 6, с. 379]. Такой способ чтения классической литературы и рецепции художественной традиции в целом уже сам по себе маркировал отличия от сконструированного образа условного оппонента – интеллектуала, бравирующего эрудированностью, ориентированного на современное модернистско-авангардистское искусство, нередко полагавшего, что «классика устарела», а традицию надо радикально обновить [см.: Разувалова, 2013]. И если, по пронизательному замечанию П. Бурдые, прошлое (история литературного поля) детерминирует авангардистов в «стремлении преодолеть прошлое» [Бурдые, 2000, с. 48], то верно и обратное: настоящее побуждает традиционалистов культивировать свою связь с классической традицией и утверждать наследование ей в качестве главного условия принадлежности к подлинной культуре в современной ситуации.

Осознание культурной уязвимости перед представителями столичной творческой элиты трансформировалось у «деревенщиков» в мифологему «преемственности», ответственности перед великой традицией национальной литературы и оказалось мощным стимулом к развитию: «Коварные эти мужики, мастера-то, нет-нет да и вышибут из седла самоуспокоенности, шпыняют под бока, гляди, мол, как надо писать-то. Ну, авось да небось, и мы свою полоску вспашем» [Астафьев, 2009, с. 49]. Наиболее важна здесь последняя реплика о «своей полоске», то есть о спасительном для творческого саморазвития осознании нетождественности своего социального и культурного опыта опыту классиков. Она позволяла чувствовать себя «учеником», а не подражателем [см.: Астафьев, 1997, с. 210], несмотря на то, что новое знание о человеке, порожденное XX веком¹, концептуализировалось посредством традиционной реалистической поэтики.

¹ Впоследствии эту нетождественность Астафьев продекларирует, обосновывая свое право выйти за рамки классического, сформированного, главным образом, прозой Л. Толстого, изображения войны [см.: Астафьев, 2009, с. 643–644].

О классике и классиках «деревенщики» писали довольно много (статьи к юбилеям, очерки, литературоведческая эссеистика). В большинстве их публичных высказываний нетрудно обнаружить основные топосы общетрадиционалистского дискурса о классике. «Деревенщиками» она привычно трактуется как искусство, объединяющее различные слои населения в «народ» и в этом смысле обращенное ко всем, не предполагающее дифференциации по группам адресатов. «Пушкин – консолидатор, великий объединитель», «По Пушкину мы делаемся русскими, сынами и гражданами своего Отечества», – пишет Ф. Абрамов [Абрамов, 1993, с. 440, 441]. В признании исключительной роли Пушкина в создании символической общности – «народа» – солидарен с ним В. Солоухин: «Пушкин был выразителем народной души, а вовсе не какой-то одной группы, прослойки или верхушки. Тем самым Пушкин и сейчас способствует и содействует единению народа...» [Солоухин, 1986, с. 32]. Интересно, что «народ» остается главным идеальным адресатом «деревенщиков», однако из этой воображаемой общности исключаются все те же «снобы», интеллектуальная элита, чуждающаяся традиционного. Соответственно защита традиционных форм приобретает иногда компенсаторный характер и риторически организуется как ответ на высказанные или подразумеваемые обвинения в художественной консервативности. Астафьев, получив письмо от дочери героя своего рассказа «Сибиряк», восклицает: «...После такого письма уже не захочется писать для литературных снобов или для заморской публики...» [Астафьев, 1997, с. 190], и, таким образом, специфицирует своего читателя – «простого человека», способного к глубокому переживанию прочитанного, оставляя вне «народного целого» рафинированного читателя-эстета.

Еще один посыл, который содержала канонизация классики в «долгие 1970-е» и который был подхвачен интеллигенцией национально-консервативного толка, – это легитимация исключительных прав реализма, вынужденного, даже в условиях официально декларируемых анти-модернистских приоритетов, конкурировать с другими стилями. В данном случае конститутивные черты реализма принимались за «самоочевидную меру классичности» [Тюпа, 1991, с. 111], что делало иные художественные языки вторичными по отношению к реализму. Главную лепту в обоснование «естественного» доминирования реализма в русской литературе внесли литературоведы консервативного лагеря. С точки зрения Палиевского, субстанциальные свойства русской культуры («диалогизм», «народность») и способность реализма с минимальными искажениями объективировать в художественном образе сущность бытия обеспечили первенство реалистической эстетики в русской литературе [Палиевский, 1974]. На утверждении внутренней сбалансированной природы реалистического образа, уравнивающего онтологическое и гносеологическое, избегающего волюнтаристской деформации действительности, базировалась в «долгие 1970-е» традиционалистская легитимация реализма.

«Деревенщики» же, убежденные приверженцы реализма, свой метод нередко определяли апофатически: это не примитивно понятное жизнеподобное искусство, это не натурализм, это не бытописание. В то же время предлагаемые ими дефиниции реализма обычно были метафоричны и довольно широки. Например, Залыгин полагал, что «реализм нашего времени – это прежде всего подлинная необходимость той идеи, которую раскрывает писатель, четкость его гражданской позиции, социального взгляда и мышления. Средства же художнические могут быть разные» [Залыгин, 1982, с. 15]. Редуцировать это расплывчатое определение можно к понятию логоцентризма, рассмотрению реалистического произведения как смылосодержащей и смыслообразующей, иерархически-упорядоченной структуры. «...Не будь тех якорей реализма, логики, природности, естественности, которые бросил Толстой, куда бы новыми ветрами и течениями подхватило и унесло современную литературу?» – вопрошал Залыгин [Залыгин, 1991, т. 6, с. 492]. Выстроенный им ряд как бы дублирующих друг друга понятий весьма

примечателен: «деревенщики» склонны понимать реализм как искусство «природное», «органичное», с минимумом «литературности», ассоциируемой со «сделанностью», «искусственностью». Из «натурализации» реализма логически вытекала апология его «здоровой» природы. Залыгин, куда более сосредоточенно, чем кто-либо из писателей-традиционалистов, рефлексировавший проблемы реалистической эстетики, применительно к реализму говорил о «нормальности». Ее он выводил из «нормы», означающей для него не столько насильственную регламентацию, сколько добровольное самоограничение творящего субъекта: «Искусство, идеал которого – нормальная жизнь, должно дорожить и своей собственной нормальностью» [Залыгин, 1991, т. 5, с. 458].

Весь этот спектр значений («естественность», «природность», «нормальность»), закрепленных за реализмом, формировался в латентной полемике с культурой авангарда. Низвержение классики в конце 1910 – начале 1920-х годов надолго стало для традиционалистов источником сильнейшей фрустрации. Позднейшее истолкование ими конфликта классики (реализма) и авангардизма было ре-активно, то есть являлось ответом на бунт авангарда против национальной классики в период революции и первое послереволюционное десятилетие. В постсталинскую эпоху в СССР, несмотря на антимодернистские кампании рубежа 1950–1960-х, происходила частичная легализация модернизма / авангарда. Тем не менее официально декларируемая культурная политика была направлена на поддержку произведений реалистического плана, а национально-консервативная критика, оставаясь в границах конвенционально допустимого, пробовала отождествлять авангард с политико-культурным радикализмом [см.: Кожин, 1991, с. 301–312; Палиевский, 1990, с. 184–190; Лобанов, 1979, с. 306–311].

Не входя в подробности традиционалистской критики авангарда, по-своему логичной и риторически изобретательной, заметим, что неприятие «деревенщиками» модернизма / авангарда имело свою специфику, ибо было обусловлено прежде всего отрицанием его элитаризма. Действительно, для восприятия искусства авангарда, согласно мысли П. Бурдьё, необходимо знание интеллектуальных кодов и определенных рецептивных режимов, имеющих мало общего с непосредственным эмоциональным восприятием [см.: Bourdieu, 2006, s. 10–11]. Французский социолог считает, что эстетическая диспозиция, приобретаемая образованием и ранним приобщением к культурным благам, радикально противоположна массовому вкусу, ориентированному на жизнеподобные эстетические формы (в том числе и классические, рутинизированные и растиражированные в процессах школьного обучения) и предполагающему глубокий эмоциональный отклик. Нигде в сфере культуры социальная стратификация не обнаруживает себя ярче, чем в отношении к авангарду. Иначе говоря, неприятие авангарда обычно является результатом действующих социальных классификаций. Этот феномен дает о себе знать в критике «деревенщиками» модернизма и авангарда. Так, Шукшин мягко пеняет авторскому кино за стремление изобретать визуальные конструкции и ходы, которые способствуют «тренажу разума», но не переживанию «правды жизни» [Шукшин, 1981, с. 194]. Белов органичному народному искусству противопоставляет формалистические поиски в литературе музыке, «схематизм и конструктивизм, синтетическое искусство, создаваемые чуть ли не математическим способом» [Белов, 1989, с. 266]. Подчас усложненность, «формальный» характер модернизма / авангарда выводятся из разрыва с национальной традицией и последующей утратой ее эссенциальных («почвенных») качеств: «Это, по-моему, литература (повести В. Катаева 1960-х годов. – *А.Р.*) сноба и для снобов. Я такой не люблю, нерусская это писанина. Русская и в сложности своей проста...» [Астафьев, 2009, с. 122]. Антитеза «рационализма» авангардного искусства и «органики» реализма также восходит к описанному Бурдьё инвариантному конфликту «формы», маркирующей культуру привилегированных групп, и «субстанции», определяющей доминанту вкусовых предпочтений подчиненных групп [см.: Bourdieu,

2006, s. 224], и возвращает нас к первоначальному конфликту «деревенщиков» с городской творческой элитой, где эта антитеза нашла воплощение в риторике и поведенческих репрезентациях [см.: Разуvalова, 2013].

Размышления «деревенщиков» о классике, безусловно, определяются традиционалистским дискурсом, но они несводимы к воспроизведению его «общих мест». Каждый из «деревенщиков», рефлексировавший о русской классике, выстраивал индивидуальный литературный пантеон. Последний создавался по принципу психологического проецирования на личность и творчество классиков собственных эстетико-мировоззренческих предпочтений, полубессознательного интегрирования в сюжеты культуры XIX века переживаемых коллизий. Для ряда «деревенщиков», сосредоточенных на проблематике соединения правды культуры и правды «почвы», просвещенности и естественности, особую значимость имели жизненные и творческие траектории Толстого [Абрамов, 1993, с. 447] и Тургенева [Солоухин, 1986, с. 13–17]. Астафьев в романтическую оппозицию гения и судящей его безликой «толпы», которую он часто воспроизводил в суждениях о русских классиках (Гоголе, Толстом), «вчитывал» затрагивавшие его лично смыслы – ограничение творческой свободы, авторитарные («комиссарские») суждения критики или читателей о художнике [см.: Астафьев, 1997, с. 372–378]. Залыгина интересовали в первую очередь художники, чье творчество задавало параметры реалистической эстетики и стало образцом ее нетривиального воплощения, – Гоголь и Толстой [Залыгин, т. 6, 1991, с. 460–483, 485–497]. Таким образом, осуществлялось субъективное «присвоение» классики «деревенщиками», адаптация ее к параметрам собственного авторского мифа.

Однако классическое наследие – ценностное ядро и в этом смысле центр национальной культуры, а в самосознании «деревенщиков» исключительно важным было ощущение себя «периферийщиками» [Астафьев, 2009, с. 32] как в плане социальном, так и в пространственно-географическом. Вероятно, здесь истоки их попыток разнообразить сложившиеся представления о культурном взаимодействии классики и «народа». С этой целью Залыгин затевает проект, связанный с изданием книг забытых писателей крестьянского происхождения – С.Т. Семенова и других [см.: 15 встреч в Останкине, 1989, с. 186]. Также «деревенщики» инициируют интерес к региональным литературным традициям и вносят немалый вклад в их конструирование. Они привлекают внимание к забытым именам (например, Абрамов пропагандировал творчество С. Писахова и Б. Шергина [Абрамов, 1987, с. 363–365, 416–426], Астафьев говорил о значимости для него сибирской прозы 1920–1930-х годов – В. Зазубрина, С. Ошарова [Астафьев, 2009, с. 143–145]), добиваются увеличения тиражей книг писателей, эту традицию представлявших (см. письмо Астафьева о готовящемся к изданию собрании сочинений В. Шишкова [Астафьев, 2009, с. 36–37]), содействуют творческому и институциональному развитию местной литературной жизни. Эти культуротворческие практики «деревенщиков» имели недоступный беглому взгляду, но оттого, может быть, более важный эффект – углубление представлений об объемности, полиструктурности традиции, в которой «канонизированные» элементы высокой культуры сосуществуют с традициями локальными. Однако этот аспект деятельности «деревенщиков» лишь подтверждает парадоксальную продуктивность социокультурной и пространственной маргинальности (если использовать данный термин в его первоначальном значении – нахождение на границе двух культур) в определении направления их рефлексии о классике, путей интегрирования в традицию и разрешении конфликтов, порожденных «промежуточной» идентичностью.

Литература

- Абрамов Ф.А. Собр. соч.: В 6 т. СПб., 1993. Т. 5: Публицистика.
Астафьев В.П. Собр. соч.: В 15 т. Красноярск, 1997. Т. 12: Публицистика.

- Астафьев В.П. Сопричастный всему живому // Лауреаты России: Автобиографии российских писателей. М., 1980.
- Астафьев В.П. Нет мне ответа... Эпистолярный дневник 1952–2001. Иркутск, 2009.
- Белов В.И. Раздумья на родине. Очерки и статьи. М., 1989.
- Бондаренко В.Г. Серебряный век простонародья. М., 2004.
- Боровиков С. Перекресток традиций. М., 1979.
- Бурдые П. Поле литературы // Новое литературное обозрение. 2000. № 45.
- Дубин Б. Лицо эпохи. Брежневский период в столкновении различных оценок // Мониторинг общественного мнения. 2003. № 3.
- Дубин Б. «Кровавая» война и «великая» победа // Отечественные записки. 2004. № 5. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.stranaz.ru/?numid=20&article=936> (дата обращения: 19.03.2013).
- Залыгин С., Вентура М. Сквозь призму собственной души. О судьбах реализма в современной литературе // Литературная газета. 1982. 15 сентября.
- Залыгин С.П. Собр. соч.: В 6 т. Т. 5, 6. Публицистика. М., 1991.
- Зенкин С. «Классика» и «современность» // Литературный пантеон: национальный и зарубежный. М., 1999.
- Зоркая Н.М. История советского кино. СПб., 2006.
- Классика: границы и безграничность // Литературная газета. 1976. №№ 12, 16, 22, 23, 28, 30, 32, 34, 36, 37.
- Книги о русских писателях в «ЖЗЛ» // Вопросы литературы. 1980. № 9.
- Ковский В.Е. Преемственность. «Деревенская тема» в современной литературе. М., 1981.
- Кожин В.В. Размышления о русской литературе. М., 1991.
- Коробов В. Василий Шукшин. Веще слово. М., 1999.
- Куляпин А.И., Левашова О.Г. В.М. Шукшин и русская классика. Барнаул, 1998.
- Куняев Ст., Красухин Г. С классикой на дружеской ноге // Литературная газета. 1976. 29 сентября.
- Литература и НТР // Вопросы литературы. 1976. № 11.
- Литературоведение: мера точности // Литературная газета. 1977. №№ 1, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 19.
- Лобанов М.П. Островский. М., 1979.
- Палиевский П.В. Пути реализма. Литература и теория. М., 1974.
- Палиевский П. Классика и мы // Москва. 1990. № 1. 15 встреч в Останкине. М., 1989.
- Разувалова А.И. Писатели-«деревенщики» в поисках оппонента: эстетика конфронтации и этика солидарности // Новое литературное обозрение. 2013. № 119.
- Селезнев Ю.И. Глазами народа. М., 1986.
- Сердюченко В. Надежность традиции // Новый мир. 1980. № 9.
- Солоухин В.А. Прийти и поклониться. М., 1986.
- Тюпа В.И. Между архаикой и авангардом // Классика и современность. М., 1991.
- Шукшин В.М. Вопросы к самому себе. М., 1981.
- Bourdieu P. Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądenia. Warszawa, 2006.
- Brooks J. Russian Nationalism and Russian Literature: The Canonization of the Classics // Nation and Ideology. New York, 1981.